Влюбиться в преподавателя — ошибка.
Влюбиться в него дважды — двойная ошибка.

18+



ДВОЙНАЯ ОШИБКА

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

ПЕРИ РЕЙ

18+

Валери Рей
Двойная ошибка

https://litres.ru/74818183
SelfPub; 2026

Аннотация

Четыре года назад, в последний вечер лета, он пообещал ждать ее и исчез, не сказав больше ни слова.

Она научилась жить без него. Но в первый день последнего курса дверь аудитории открывается, и к столу выходит новый преподаватель. Тот самый.

История о первой любви, которая вернулась не вовремя, о горе, которое не проходит по расписанию, и о том, можно ли верить человеку, если он молчит о главном.

Содержание

Глава 1 4
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Валери Рей
Двойная ошибка

Глава 1

«Есть вещи, о которых не думаешь четыре года подряд. Это не значит, что ты их забыл. Это значит, что ты хорошо тренирован»

— Нора Стейм

Южная Каролина. Настоящее.

У меня есть теория: все люди делятся на два типа. Первые встают в шесть утра, потому что им это нравится, бегают по аллеям в наушниках и совершенно серьёзно говорят, что любят утро. Я отношусь ко вторым. Мы тоже встаём в шесть, но только потому, что иначе лишимся спортивного гранта.

Сегодня к девяти утра я уже успела отыграть тренировку, на которой Марк дважды назвал меня «Стейм» таким голосом, будто это ругательство, и проглотить таблетку обезболивающего, о которой он не знает. Плечо после подач ноет так, что сумку я несу на левом, а правую руку держу ближе к телу, как будто прячу что-то под футболкой.

Кейн ждёт меня у главного корпуса с двумя стаканами кофе и переминается с ноги на ногу. Это значит, что у неё есть новость и терпеть ей уже тяжело.

— Ты слышала? — Она суёт мне стакан. — Ты же ничего не слышала, ты с шести утра на корте. Миллер ушёл. На пенсию. Всё, нет больше Миллера.

Кофе горячий и сладкий, с корицей, как я люблю. Мама по утрам пила точно такой же. Она вставала раньше всех, варила кофе и садилась на кухне у окна, а если я выходила к ней, ничего не говорила, просто отодвигала мне стул. Иногда первый глоток утреннего кофе до сих пор отбрасывает меня на ту кухню, и мне нужна секунда, чтобы вернуться.

— Ну и хорошо, — говорю я. — Он мне занижал мне оценки.

—Взяли кого-то из Чикаго. Зои с филфака с восьми утра сидит под дверью деканата.

— Зачем?

— Затем, что она его вчера видела. Издалека. И теперь он, цитирую, «абсолютный порочный секс-символ в рубашке с закатанными рукавами». — говорит Кейн.

— Зои так сказала?

— Зои так написала. В общий чат. С тремя огоньками.

Слово «Чикаго» царапает меня, и я злюсь на себя за это. В Чикаго живёт почти три миллиона человек, и далеко не все они имеют ко мне отношение.

— Звучит так, будто его надо срочно уволить, — говорю я.

— Звучит так, будто я наконец начну ходить на пары.

У входа собралась толпа.

— Это что, все к нему? — спрашиваю я.

— А ты думала, к кому? — Кейн тянет меня за правую руку, и плечо простреливает так, что я прикусываю щёку изнутри, лишь бы не вскрикнуть. Кейн ничего не замечает. — Нора, дорогая, ты тут четвёртый год. У нас в прошлом году сорок человек сбежались смотреть, как декан в лифте застрял.

— Один раз было.

— И это был лучший день семестра.

Аудитория забита до отказа.

— Сюда! — Кейн пробирается к третьему ряду. — Извините. Простите.

Ручки у меня, конечно, нет.

— Дай ручку.

— У тебя когда-нибудь будет своя ручка?

— Нет.

Она протягивает мне ручку, не отрываясь от телефона, и через минуту спрашивает:

— Ты чего такая?

— Марк, — говорю я. — Шесть недель до Колумбии, а я подаю как первокурсница. Он смотрел на меня так, будто я его лично подвела.

Про остальное я молчу. Если начать, придётся рассказать и про плечо, а Кейн умеет вытащить из меня всё, стоит дать ей хоть один конец нитки.

— Опять «шесть недель»?

— Опять.

— Он тебе это с июля твердит. Ты же знаешь Марка. Да у тебя подача лучшая во всём колледже. Он просто давит, у него метод такой.

С Кейн я познакомилась в первый же день в колледже, когда тащила по коридору коробку с вещами. Она выхватила коробку у меня из рук и заявила, что не будет смотреть, как кто-то зарабатывает грыжу у неё на глазах. Через две недели мы уже жили в одной комнате, и как она уговорила администрацию, я не знаю до сих пор. В октябре умерла мама, и я перестала разговаривать с людьми, потому что мне казалось, что если я ни к кому не привяжусь, то больше никого не потеряю. Кейн это не остановило.

Дверь открывается, и к столу подходит мужчина в тёмной рубашке. Он кладёт папку и снимает часы, взяв их двумя пальцами за ремешок и от этого простого движения у меня перехватывает дыхание. Я знаю эти руки лучше, чем свои собственные. Я столько раз смотрела, как он бинтует ими ракетку, открывает банку колы, убирает мне волосы с лица.

Потом он поднимает голову, и я понимаю, что это Коул.

Этого не может быть. В аудитории душно, а мне вдруг становится холодно, и кончики пальцев немеют так, что ручка Кейн выскальзывает и катится под кресло. Четыре года я учила себя не думать о нём. Я пережила смерть мамы, первый Новый год без неё, первый день рождения и первое лето, и всё это время во мне жила уверенность, что его я больше никогда не увижу. Это было больно, но, по крайней мере,

надёжно.

А теперь он стоит в десяти метрах от меня и раскладывает листы на столе.

Он обводит взглядом аудиторию, как, наверное, делает каждый преподаватель в первый день: первый ряд, второй. На третьем его взгляд останавливается на мне.

Сначала мне кажется, что он меня не узнаёт: целую секунду я для него просто девушка в серой футболке на третьем ряду. А потом с его лицом что-то происходит. Оно почти не меняется, держать лицо он всегда умел, но рука с листом бумаги замирает на полпути к столу и так и остаётся в воздухе. Он даже делает полшага вперёд, к рядам, будто хочет подойти ближе и убедиться, и тут же останавливается, словно вспомнил, где находится. Другой рукой он нащупывает за спиной край стола и опирается на него, и я вижу, как белеют костяшки его пальцев.

Мне надо отвести глаза, я это знаю. Любая нормальная девушка на моём месте опустила бы голову, уткнулась в телефон или полезла бы под кресло за ручкой. А я сижу и смотрю на него, потому что четыре года не видела его лица и теперь не могу насмотреться.

Он изменился. Волосы стали короче и больше не падают на лоб, так что ему больше нечего откидывать тем жестом, от которого у меня когда-то слабели колени. Скулы стали резче. Между бровями появилась тонкая складка, которой раньше не было, и я вдруг ловлю себя на том, что хочу знать, откуда

она: от чтения при плохом свете, от бессонницы или от того, что он часто хмурится, когда его никто не видит. Мне не должно хотеться это знать. Но мне хочется.

А глаза у него остались прежними: зелёные, чуть прищуренные, будто ему всё время немного слепит солнце, даже здесь, в аудитории с опущенными жалюзи. Этими глазами он смотрел на меня с верхней скамейки облезлой трибуны, когда я ещё не знала, как его зовут. Этими же глазами он смотрел на меня на пирсе в тот последний вечер, когда вдруг перестал улыбаться.

Он не отводит взгляда. Проходит секунда, потом вторая, потом третья. Аудитория никуда не делась: сзади кто-то смеётся, Кейн стучит пальцами по экрану телефона, скрипит чьё-то кресло, но всё это доходит до меня глухо, как будто я сижу под водой. Между нами десять метров и двести человек, и мне вдруг становится страшно, что сейчас он скажет моё имя вслух, при всех.

Помнит ли он тот последний вечер на пирсе, и колу, которую мы пили из одной банки, и то, как он обещал ждать? Или для него это было просто лето, одно из многих, и он не сразу вспомнил, как меня зовут?

Он ничего не говорит. Он медленно моргает, и я вижу, как он сглатывает, как дёргается кадык над расстёгнутым воротом рубашки. Он отводит взгляд к окну, на опущенные жалюзи. Часы, которые он только что снял, он зачем-то берёт со стола, вертит в пальцах и кладёт обратно. Тем летом он все-

гда так делал, когда нервничал: поправлял то, что не нужно было поправлять. Перевязывал шнурки, которые и так были завязаны, разворачивал кепку козырьком назад, ставил банку колы на перила точно посередине.

Значит, он нервничает. Значит, ему не всё равно.

Или мне просто очень хочется, чтобы ему было не всё равно.

И тут же, совсем некстати, мне в голову приходит мелкая и жалкая мысль о том, что я сижу перед ним в старой футболке. Иногда, в самые плохие ночи, я представляла себе нашу встречу, и в этих фантазиях на мне всегда было платье, я была загорелой и спокойной, а рядом стоял какой-нибудь новый парень, желательно хоккеист. На деле же я сижу на третьем ряду без собственной ручки, и от меня пахнет мазью для суставов, как от пенсионерки.

Прекрасно, Нора. Просто прекрасно.

Он опускает глаза в папку, открывает её и несколько секунд перелистывает страницы, хотя, по-моему, не читает ни строчки. Потом он откашливается.

— Доброе утро.

Голос в первый раз подводит его и выходит хрипловатым, и он повторяет ещё раз, уже ровно:

— Доброе утро.

Голос у него стал чуть ниже, но я узнаю его раньше, чем успеваю разобрать слова.

В аудитории душно, и эта духота вдруг напоминает мне

другое тепло, августовское, вечернее, когда солнце уже село, а доски пирса ещё помнят его. Я закрываю глаза всего на секунду, и мне больше не нужно ничего вспоминать специально: оно приходит само.

Мы лежали на старом пирсе, доски ещё не остыли от солнца, а над рекой темнело небо. Пахло водой, нагретым деревом и колой, которую мы допивали из одной банки по очереди. Где-то на набережной у кого-то играла музыка, и Коул тихонько подпевал, не попадая в слова.

— Так куда ты всё-таки едешь учиться? — спросил он.

— Не знаю ещё, — сказала я.

— Врёшь.

— Не вру. У меня два варианта. Оба далеко от Чикаго, если что.

— Это ты меня так утешаешь?

— Предупреждаю.

Он повернулся на бок и подпёр голову рукой.

— Ну хоть штат скажи.

— Не скажу.

— Почему?

— Потому что ты сразу полезешь смотреть билеты. А мне интересно, сколько ты продержишься.

— Нисколько. Я уже смотрю. — Он и правда достал телефон. — Из Чикаго куда угодно часа три самолётом. Поездом дольше, но я люблю поезда.

— А если Аляска?

— Куплю пуховик.

— А если Австралия?

— Нора, Австралия — это не штат. Ты жульничаешь.

Я засмеялась. Он убрал телефон и смотрел на меня, но больше не улыбался.

Мне очень хотелось ему сказать. Но мне казалось, что, если я скажу это вслух, лето закончится прямо сейчас, на этом пирсе, а я ещё не была к этому готова.

— Скажу, когда решу, — сказала я. — Обещаю.

— Ладно. Я подожду.

Он наклонился и поцеловал меня медленно, никуда не торопясь. Мне было восемнадцать, мама болела, и я уже знала, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается, но в тот вечер на пирсе мне до боли хотелось, чтобы это не закончилось никогда.

Я так и не успела ему сказать.

Кейн толкает меня локтем, и пирс исчезает. Передо мной снова аудитория, жалюзи и полная аудитория.

— Меня зовут Коул Кинг. В этом семестре я веду у вас курс «Психология и литература».

Дальше он говорит спокойно, без единой запинки, как будто тех нескольких секунд не было. И я не знаю, что хуже: что он так быстро взял себя в руки или что мне всё это просто показалось.

— Ты чего? — шепчет Кейн.

— Ничего, — говорю я, и голос выходит чужой, сиплый.

— Ты белая вся.

— Душно тут.

Кейн смотрит на меня, потом на доску. Я думаю только о том, чтобы не заплакать здесь, у него на глазах.

— Сразу о хорошем, — говорит Коул. — Полной посещаемости я не требую. Шестьдесят процентов — и я вас не трогаю.

Кто-то сзади хлопает.

— Теперь о плохом, — продолжает он. — Итоговая оценка — эссе. Пять тысяч слов. Сдадите в конце семестра.

— Сколько? — спрашивают сзади.

— Пять тысяч.

— Это же как... это книга.

— Это четырнадцать страниц, — говорит Коул.

Он берёт мел.

— Начнём. Вопрос простой. Можно ли доверять рассказчику?

— В смысле? — спрашивает парень с заднего ряда.

— В самом прямом. Вы читаете историю от первого лица. Человек вам рассказывает, что случилось, кто как поступил, почему он сам сделал то, что сделал. Почему вы ему верите?

— Ну а как иначе? — говорит девушка в шёлковой блузке. — Тогда вообще ничего не понятно будет.

— Справедливо, — говорит Коул и улыбается. — А теперь представьте, что он не врёт. Ни слова. Он просто рассказывает ту часть, которую считает важной. — Он делает

паузу. — Или ту, которую готов рассказать.

Я смотрю в блокнот, и буквы расплываются.

За четыре года он не написал мне ни одного «прости» и ни одного «как ты». Первые месяцы я проверяла телефон каждые пять минут, потом каждый час, а потом перестала, но ещё долго вздрагивала, когда приходило сообщение с незнакомого номера. Я придумывала ему оправдания: что он попал в аварию, лежит в больнице, потерял телефон.

А он был жив. Он жил, писал свои тексты, ездил на свои презентации, а теперь стоит передо мной и рассуждает о людях, которые говорят не всю правду.

— То есть никому верить нельзя? — спрашивает Дилан. Мы с ним со второго курса ходим на одни и те же пары, и он везде таскает с собой гитару, даже на экзамены.

— Почему же, — говорит Коул. — Иногда рассказчик просто ошибается.

— А если не ошибается? Если специально молчит?

Коул отвечает не сразу.

— Тогда читателю придётся решить, меняет ли это его отношение к истории.

Я поднимаю глаза. Он смотрит на Дилана, разумеется, на Дилана.

Мне хочется встать и спросить, как читателю это решать, если автор даже не потрудился написать продолжение. Но если я встану, то потом целый семестр буду сидеть на его парах, зная, что он знает: я всё помню, и мне до сих пор не

всё равно. Поэтому я остаюсь сидеть.

Кейн наклоняется ко мне.

— Слушай, мне кажется, или наш секси-символ на тебя пялится?

— Кажется, — говорю я и не поднимаю глаз от блокнота.

— Третий раз уже.

— Ты что, считаешь?

— Конечно считаю, мне же интересно.

Я прикусываю губу. Кейн убирает телефон.

— Вы знакомы?

Врать ей бесполезно.

— Да, — говорю я.

Кейн открывает рот и снова закрывает.

— В смысле да? Откуда?

— Ну... знакомы.

— Нора. Насколько знакомы?

Коул пишет на доске и каждый раз, когда поворачивается к аудитории, первым делом смотрит на наш ряд.

— Помнишь, я тебе рассказывала про Филадельфию? — говорю я тихо. Губы почти не слушаются.

Кейн смотрит на меня, потом на доску, потом снова на меня.

— Нет, — говорит она. — Нет-нет-нет. Нора!

Оборачивается половина ряда, и он тоже. Коул запинается на полуслове, смотрит на нас и снова поворачивается к доске, а Кейн сползает по спинке кресла так низко, что по-

чти исчезает.

— А если автор сам не знает правды? — снова спрашивает Дилан. — Ну, типа, персонаж живёт своей жизнью, и писатель сам не понимает, что у него в голове.

— Хороший вопрос, — говорит Коул. — Как вас зовут?

— Дилан.

— Дилан, вы на чём-нибудь играете?

— Э-э. На гитаре. А что?

— Тогда вы знаете, как это бывает: пальцы находят аккорд раньше, чем вы подумали, какой он. С персонажами так же. Рука пишет то, что голова ещё не решила.

— О. — Дилан задумывается. — Прикольно. А у вас так бывает?

— Постоянно.

— И что вы делаете?

— Ничего. Оставляю. Обычно это лучшие места.

Коул всегда умел разговорить человека. Тем летом я сама не заметила, как рассказала ему про Ребекку из моей школы, которая пустила слух, будто моя мама подкупает судей на турнирах, и половина класса ей поверила. Моя мама, которая в супермаркете пересчитывала сдачу и возвращала лишнее. Я рассказывала и злилась, а голос всё равно дрожал. Он ни разу меня не перебил, а потом просто сидел рядом, пока я не успокоилась, и мне казалось, что так он слушает только меня и что я для него особенная.

Теперь он точно так же слушает Дилана, и девушку в шёл-

ковой блузке, и всех остальных.

А что, если я никогда и не была особенной? Что, если он со всеми такой, а я была просто восемнадцатилетней дурой, которой очень нужно было, чтобы её кто-нибудь выслушал, пока дома умирала мама?

Меня начинает мутить.

— Ладно, — говорит Коул. — Вернёмся к тексту.

До конца лекции Кейн молчит, хотя молчать она не умеет. Я сорок минут смотрю в одну точку. Он говорит, я слышу каждое слово, но не понимаю ни одного.

— Не расходимся, — говорит Коул, когда все начинают вставать. — К следующему разу жду короткий отклик на первую главу «Постороннего». Страницы хватит. Больше не надо, я всё равно не дочитаю.

В блокноте стоит дата, под ней несколько слов, которые я не помню, как записала, а на полях нарисованы звёздочки.

— Нора, подожди, — говорит Кейн из-под соседнего кресла, куда она полезла за своей ручкой.

— Я снаружи подожду.

— Нора.

— Пожалуйста. Мне надо выйти.

Кейн вылезает, смотрит на меня и не спорит.

Главное сейчас — не бежать. Не хватало ещё, чтобы он решил, что бегу из-за него.

У стола задержались две девушки. Одна о чём-то спрашивает, а вторая, смеётся и поправляет волосы, и он им улыба-

ется. Эту улыбку я знаю: один уголок рта у него поднимается выше другого. Когда-то он так улыбался только мне.

Мне хочется, чтобы эта девушка споткнулась на выходе. Не сильно, а совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы пролить кофе на свою шёлкую блузу. Я понимаю, как это мелко и гадко, и всё равно этого хочу.

Я дохожу до самого конца коридора и останавливаюсь только у окна. Мне хочется плакать, и я ненавижу себя за это. Я похоронила маму, я научилась жить без неё и без него, я собрала себя заново, по кусочку, и думала, что держится крепко. Оказалось, хватило одной лекции.

Если бы мама была жива, я бы сейчас ей позвонила. Она бы взяла трубку на втором гудке, как всегда, и по одному моему «привет» поняла бы, что что-то случилось. Я бы сказала: «Он здесь», — и мне не пришлось бы объяснять, кто это «он».

Я достаю телефон. Её номер до сих пор у меня в избранном. Я смотрю на него какое-то время и убираю телефон обратно в карман.

Кейн догоняет меня через минуту и встаёт напротив, скрестив руки на груди.

— Так. Сад за библиотекой. Сейчас же.

В саду стоят три скамейки, на которых почему-то никто никогда не сидит, и с первого курса это наше место.

— Значит, это он, — говорит Кейн.

— Он, — говорю я. Выходит тихо, как будто я признаюсь

в чём-то постыдном.

— Тот самый. Филадельфия. «Разбил сердце и пропал, подробностей не будет».

— Я так не говорила.

— Ты так говорила три года. Слово в слово. Могу показать. — Она делает скорбное лицо и говорит пониже: — «Кейн, я не хочу об этом говорить».

— Не надо.

— Ладно. Ладно. — Она вздыхает. — Это катастрофа, я в ужасе. — Она молчит секунду. — Но я должна сказать. Вкус у тебя...

— Кейн.

— ...отличный. Я думала, твой бывший какой-нибудь гитарист с немытой головой.

— Он мне не бывший, — говорю я.

— А кто?

— Никто. Это было лето. Просто лето.

Я сама слышу, как глупо это звучит, как будто такое вообще бывает.

— Просто лето, после которого ты три года слово «Филадельфия» не могла выговорить. Ты в прошлом году кино выключила на десятой минуте, потому что там действие в Филадельфии.

— Это было скучное кино.

— Это был «Рокки», Нора.

Я не отвечаю. Кейн подтягивает колени к груди и разво-

рачивается ко мне всем телом, как делает всегда, когда собирается сидеть долго.

Все эти годы, когда я о нём вспоминала, ему было двадцать два, на нём была белая футболка и красная кепка, и от него пахло колой и мармеладом. Он остался там, в том лете, вместе с мамой, которой тогда ещё можно было позвонить. Я так о них и думала, вместе: тогда у меня были они оба, а потом не стало сразу обоих.

И всё это время он жил дальше. Теперь ему двадцать шесть, и он носит дорогие часы.

— И вот он здесь, — говорит Кейн. — Из всех колледжей страны. На твоём последнем курсе.

— Спасибо, что напомнила. А то я забыла.

— Тебе это не кажется странным?

— Люди переезжают, находят работу и иногда оказываются в одном месте с... с кем-то.

— С кем-то, — повторяет Кейн.

— Колледжей не так много, как ты думаешь.

— Их четыре тысячи, Нора. Я для курсовой гуглила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.